

УДК 821.161.1.09"19"
ББК 83.3(2=411.2)6-8
DOI: 10.46726/H.2021.2.5

З. Я. Холодова

РЕЦЕПЦИЯ ГЕРМАНИИ В СВЕРХТЕКСТЕ М. ПРИШВИНА

В статье рассмотрена рецепция Германии в контексте пришвинского творческого наследия, пронизанного размышлениями о немецкой философии, музыке, поэзии, бытовой культуре. В автобиографическом романе образ Германии раскрыт через восприятие героя, сравнивающего Германию и Россию, и ряд лейтмотивов. Мотивность обеспечивает целостность художественного мира писателя. Эта особенность пришвинской поэтики отражена и в «Кашеевой цепи», где также сказалось большое влияние Вагнера, создавшего в своих операх технику лейтмотивов. Пришвин хорошо знал философские учения рубежа XIX—XX веков, но испытал наибольшее воздействие «философии жизни», особенно идей Ницше и Зиммеля. Книги Ницше открыли герою «Кашеевой цепи» «настоящее знание», ярко осветившее мировое пространство. Пришвин размышлял о Ницше на протяжении всей своей творческой жизни, Ницше для него — прежде всего художник слова и великий философ, чье учение «дает толчок искусству». Немецкая философия и культура оказали определяющее влияние на формирование философских и эстетических взглядов Пришвина, но особенно значимой для его художественного мышления стала зиммелевская концепция понимания как отношения одного духа к другому, дополняемого актами самосознания, обеспечивающими знание себя как другого. Для Пришвина характерны «внутренние диалоги» с соратниками по перу, философами, религиозными мыслителями, учеными — современниками и предшественниками, он их вел с целью определения своего творческого поведения.

Ключевые слова: рецепция, сверхтекст, творческое наследие, художественное мышление, «Кашеева цепь».

Z. Ya. Kholodova

THE RECEPTION OF GERMANY IN M. PRISHVIN'S SUPERTEXT

The article considers the reception of Germany in the context of M. Prishvin's creative heritage permeated with reflections on German philosophy, music, poetry and everyday culture. In the autobiographical novel the image of Germany is revealed through the perception of a character comparing Germany and Russia and leitmotifs. The motivation ensures the integrity of the writer's artistic word. This peculiarity of Prishvin's poetics is reflected in the "Kashcheyev Chain", where he also experienced a great Wagner's influence. The composer had created the technique of leitmotifs in his operas. Prishvin was well aware of the philosophical teachings of the turn of the 19th and 20th centuries, but he experienced the greatest impact of "the philosophy of life", especially through Nietzsche's and Simmel's ideas. Nietzsche's books revealed "the real knowledge" to the character of the "Kashcheyev Chain", brightly illuminating the world space. Prishvin reflected on Nietzsche's ideas throughout his creative life; to him Nietzsche was primarily an artist of words and a great philosopher, whose teaching "gives impetus to art". The German philosophy and culture had a decisive influence on the formation of Prishvin's philosophical and aesthetic views, but Simmel's concept of understanding

as the relationship of one spirit to another, supplemented by acts of self-consciousness that ensure the knowledge of oneself as another, was especially significant for his artistic thinking. “Internal dialogues” with fellow writers, philosophers, religious thinkers and scientists, contemporaries and predecessors are very characteristic of Prishvin; he conducted them in order to determine his own creative behavior.

Key words: reception, supertext, creative heritage, artistic thinking, “Kashcheyev Chain”.

В дни Первой мировой войны М. Пришвин с горечью думал о том, что Россия воюет с той страной, которая ему дала «всё»: «Роман моей жизни: столкновение Германии и России, я получил все от Германии и теперь иду на нее (Лейпциг, Тюрингия)» [1, кн. 1, с. 151], — записал он в дневнике в марте 1915 года.

Из биографии писателя известно, что после тюремного заключения за революционную деятельность, он, лишенный возможности продолжить учебу в высших учебных заведениях России, вынужден был уехать за границу. Еще в Рижском политехникуме он «менял разные факультеты в поисках “философского камня”» [1, кн. 2, с. 366], и Германия была выбрана им не случайно: она славилась своими учеными. Пришвин закончил философский факультет Лейпцигского университета «по агрономическому отделению».

В автобиографическом романе «Кашеева цепь» пребыванию Алпатова — alter ego автора — в Германии посвящены звенья: «Зеленая дверь» и «Юный Фауст», а также начало звена «Брачный полет». В них нарисованы картины общественной и культурной жизни страны. Поданы они главным образом через восприятие героя, который постоянно сравнивает Германию и Россию, немцев и русских. Однако образ Германии создается и иными средствами: авторскими комментариями и лейтмотивами — «скрепами» пришвинской лирической прозы.

Мотивность является органическим свойством творчества писателя, обеспечивающим целостность его художественного мира. Безусловно, и в «Кашеевой цепи» нашла отражение эта особенность пришвинской поэтики — здесь также сказалось большое влияние на писателя его любимого композитора Рихарда Вагнера, создавшего в своих операх технику лейтмотивов, когда «определенная мелодия или аккорд устойчиво ассоциируется с определенным персонажем» [5, с. 58] или, добавим, явлением. Одни мотивы прослеживаются на протяжении всей «Кашеевой цепи», другие — в отдельных звеньях. В произведении можно выявить множество мотивов персонально авторского происхождения, придающих ему яркую поэтичность. Рассмотрим те из них, которые служат раскрытию образа Германии. Так, в звене «Зеленая дверь» таковыми являются *грамотные извозчики, фруктовые деревья, Венера Милосская, большая и маленькая правды, запах воды и камня*, а в звене «Юный Фауст» главные мотивы — *полет, два ума, Фауст и Мефистофель, идея, марксизм*.

Вот Алпатов, которому предстоит определиться в «огромном беспорядочном мире» [2, с. 309], мчится в поезде «в ту самую страну грамотных извозчиков, дорог с фруктовыми деревьями и всего светлого, что выражалось в слове “прогресс”». Через дым паровоза в наступающих сумерках можно было едва-едва рассмотреть довольно скучные прусские возделанные земли, но Алпатов все глядел туда страстно, как будто пытался через дым и сумерки

узнать там где-то спасающую человека Венеру Милосскую» [2, с. 308]. Герой переполнен радостью, он хочет ею поделиться с самым близким человеком. Ближе других кажется ему Несговоров, благодаря которому «мир предстал разделенный на классы, в которых последний через мировую катастрофу должен сделаться первым» [2, с. 309]. «Казалось, ничуть не мешая решенному вместе с Ефимом делу, присоединялась теперь радость увидеть завтра же своими глазами ту самую Европу, где была и Венера Милосская, и грамотные извозчики, и волшебные аллеи фруктовых деревьев на проезжих дорогах» [2, с. 309]. Но «в отношении к Ефиму» все это почему-то показалось глупо: Алпатов почувствовал, что Несговоров его не поймет.

Первое же впечатление от Берлина подтвердило реальность того, о чем Алпатов слышал в детстве и что воспринимал как сказку: он увидел «волшебного извозчика», читающего газету. Поразило и то, что даже на самых верхних этажах вертелись на подоконниках горничные, «всюду, не стесняясь, выставляли, вывешивали на воздух пуховики, одеяла, подушки, а внизу мыли асфальт и чистили щетками так прилежно, так много лилось воды, что все пахло водою и камнем. Сотни тысяч рук свежим утром прибирали город для нового бодрого трудового дня. И вот такое берлинское, едва ли повторимое в других городах Европы, утро встретило русских, приехавших из недр России с подушками, одеялами и чайниками. На первых порах Алпатов, конечно, не мог разобраться и понять *что от чего*, все главное, казалось ему, было в этом аромате воды и камня» [2, с. 313].

Он пытается увидеть «чисто немецкое» в лицах, но люди кажутся обыкновенными — таких много и в России. «Но все-таки это были и не русские люди. Чудесно было знать, что тут уж никто не подглядывает, не смотрит в упор, не спрашивает: “Чьи вы?” Казалось, человек тут виден не с лица, а вывернулся всем своим рабочим механизмом наружу и так сошелся в деле с другим. Тут весь человек шагал все вперед и вперед своим историческим маршем. Вот, видно, почему так и кажется, будто в Берлине немцев меньше, чем в Москве: потому что все моховые извилистые ручейки народностей тут, в огромном европейском городе, вошли в одно прямое широкое русло всего человеческого потока в каменных берегах» [2, с. 317—318]. «Широко, просторно, пахнет только водою и камнем» [2, с. 308]. В восприятии Берлина и немцев явно чувствуется двойственность: и привлекает «слиянность» людей в едином потоке, и настораживает то, что «человек тут виден не с лица».

Алпатов видит не только парадную сторону Берлина — рейхстаг, «большое тяжеловесное здание с золотым куполом» [2, с. 306], старое здание университета, «столь почтенное и не соответствующее новому времени» [2, с. 323], «на несколько верст прямую, как линейка» [2, с. 317], улицу, ведущую к Шарлоттенбургу, где он хочет снять квартиру. Идя от центра Берлина к пригороду, он вскоре заметит, что дома уже без украшений, они похожи один на другой, «на асфальте начался сор, из дворов на улицу стали выбегать плохо одетые дети, толпа поредела. Совершенно так же, как и в России, остановились на углу два знакомых, стали разговаривать и загородили собой путь другим» [2, с. 318]; казалось, они разговаривали спокойно, но вдруг один бросил в лицо другому цветочный горшок с землей и человек с окровавленным лицом бросился догонять убежавшего обидчика. «Тогда музыкальный марш человека прекратился. Алпатов был в рабочем квартале» [2, с. 319].

Но попав в комнату немецкого рабочего, с «умывальнойником под мрамор и вышивкой под точеной ручкой для полотенца: “Бог есть любовь”»

[2, с. 319], Алпатов поражен удивительной чистотой. Он понял, почему томился в тюрьме: «потому что там миллионы людей жили под соломенными крышами вместе с животными, с божницами, наполненными черными тараканами. Там, на родине, был закон для совестливого человека: “так жить нельзя”. Тюремная камера там казалась единственно возможным жилищем для совестливого человека, временным страданием до исполнения срока мировой катастрофы, после которой разрешено будет жить хорошо, потому что тогда не будет ужасного неравенства» [2, с. 320]. Кровати с пуховиками, полочки, умывальники под мрамор с вышитыми над нами словами — основные мотивы главки «Русский», связанные с размышлениями Алпатова о том, что «скромная жизнь порядочному человеку в Германии разрешается», тогда как на родине «запрещена порядочная жизнь для интеллигента» [2, с. 320].

Еще не раз, рассказывая о Германии, Пришвин будет подчеркивать высокую культуру быта немцев. В прекрасном пансионе с окнами на горы в Иене, владелицей которого является вдова профессора, не случайно любят останавливаться иностранцы — здесь комфортно, все до мелочей продумано. Казалось бы, незначителен эпизод встречи Нового года в Лейпциге, но мы из него узнаем об обычае саксонцев угощать в Новый год всех, кто бы ни зашел. Алпатов приглашен хозяином встречать Новый год «с его семьей и обычными гостями» только потому, что сидел до тех пор, пока не начали сдвигать столы. При этом «...хозяин считает своим долгом еще раз объяснить гостю, чтобы он не подумал, будто он его желает в интересах своего дела, нет: все угощение будет за счет хозяина, такой обычай во всей Саксонии» [2, с. 409]. Алпатова поразило, как самый обыкновенный уличный кабачок преобразился вечером, он стал домашним, уютным: «Не узнать пивную, в которой сегодня же был, все устроено, как будто это внутренняя комната какой-то семьи. Барышня, вероятно, хозяйская дочь, встречает него приветливо, как знакомого, просит раздеться, гости приветствуют его приход, другая барышня играет на пианино, а третья вот уже подходит к нему с подносом, просит взять его стакан с горячим вином» [2, с. 412].

Но Алпатов отчетливо понимает, что немцы отличаются от русских не только по бытовой культуре и поведению, у них иное мировосприятие. Он убедился в этом сразу, как только приехал в Берлин. Извозчик, с которым он заговорил, был удивлен желанием прилично одетого господина найти дешевую квартиру. В те секунды, пока извозчик думал, о чем спросить, у Алпатова мелькнула мысль, что «московский лихач непременно бы ему ответил сразу и высокомерно: “Я почему знаю?”». Но извозчик вежливо спросил, с какой целью приехал в Берлин молодой человек. «Газета в руке извозчика обернулась титульной стороной», и Алпатов, прочитав название, обрадовался: значит, они единомышленники. Назвав извозчика товарищем, он признался, что в Германию приехал учиться и что у него мало денег. «А если у вас мало денег, товарищ, — ответил извозчик, — то зачем же вы приехали учиться?» Герою стало ясно, что общественное сознание в Германии иное, чем в России: «Слово *товарищ* было для него как перебегающая искра мировой катастрофы: студент и товарищ в России много значит даже для неграмотных людей, а вот в Германии человек читает “Форвертс” и никак не может понять, что бедный стремится к науке» [2, с. 314].

Точно так же не будут понимать Алпатова и хозяева квартиры — рабочий-металлист Отто Шварц и его жена, их родственники и приятели, которым унтер-офицер «почему-то» кажется лучше студента, а также сокурсник

Алпатова — Мейер, от которого он услышит «совершенный вздор мещанской жизни» о «двойной» любви: одна — для портнихи, другая — для «приличной жены» [2, с. 346], и хозяйка квартиры в Лейпциге, где он проживет три года. Все немцы, с которыми общается Алпатов, — люди добрые, открытые, гостеприимные, но в то же время — практичные, деловые, во всем ищущие личную выгоду и умеющие устроиться в жизни с наибольшей пользой для себя.

«Алпатов не обратил никакого внимания на Германию военную, о которой с возмущением говорили все либеральные люди. Он смотрел в Берлине на жизнь по линии лучших возможностей, главой государства был ему Бебель, а не Вильгельм, господствующими классами не юнкерство и буржуазия, а только пролетариат» [2, с. 357]. Но Алпатов увидел, что рабочих абсолютно не интересуют политические вопросы. В романе рассказывается о собрании металлистов, куда его повел Шварц. Рабочие собрались в танцевальном зале, они сидят за столиками с женами, пьют пиво, одобрительно слушая адвоката Гейне, убеждающего их с помощью математических вычислений, что забастовка не принесет победы.

Вожди «левых» Вильгельм Либкнехт, сердитый «высокий старик с белой бородой», и Август Бебель, в глазах которого было «что-то от святого разумника Белинского, а улыбка от сатир Щедрина» [2, с. 334], не вступают в спор с правым социал-демократом. «Бебель не возражал: не было смысла, казалось Алпатову, тратить слова там, где никому верить не хочется и, кажется, жить и так хорошо. И все единогласно голосовали против забастовки» [2, с. 334]. Алпатов не услышал мудрых слов от своего кумира Бебеля, за перевод книги которого «Женщина и социализм» год просидел в тюрьме.

Отто Шварц на вопрос Алпатова, верит ли он, что когда-нибудь пролетариат объединится и перевернет весь мир, ответил, что не раз это слышал, но думать об этом некогда, и он искренне недоумевает, почему его жильца удивляет, что он социал-демократ — ведь он рабочий. И собрание, и праздник стрельцов представляют для него одинаковый интерес — по сути, это развлечения. Более же всего ему хочется увидеть императора на прогулке. Алпатов с удивлением обнаружил, что рядовые члены партии подобострастно приветствуют императора Вильгельма. Отто сделал замечание Алпатову, не снявшему шляпу перед императором, а на его возражение, что Бебель не стал бы кланяться и кричать «hoch», ответил: «Бебель — вождь <...>, ему ведь это можно и нужно, я же человек обыкновенный, нечего скрывать от себя, вы сами видели, у нас в народе любят императора, все кланяются, все кричат, зачем же я буду отставать от всех, разве этим возьмешь?» [2, с. 336]. И Алпатову почудилась в ответе Отто «маленькая правда», из-за которой неприлично «...ставить ежом большую правду: все равно же и Бебель не стал говорить о мировой катастрофе, когда цифры доказывали маленькую правду невозможности даже простой забастовки» [2, с. 336]. Эта маленькая, коротенькая правда в России называется мещанством.

В повествовании о пребывании героя в Берлине варьируется мысль о Германии как мещанской стране. Кольцевая композиция этого фрагмента романа ее подчеркивает: уезжая от Шварцев, герой вновь видит на балконах верхних этажей хозяек в белых передниках, развешивающих пуховики и ночное белье, а «внизу щетками чистили, поливали асфальт, и всюду пахло водой и камнем» [2, с. 350]. Но не вся Германия такова.

Пруссии с ее центром — «военным каменным Берлином» [2, с. 449], с окружной железной дорогой, маленькими огородиками вдоль нее, где

на клочках земли, не имеющей запаха, выращивают картошку, — противопоставлена Саксония. «Там, в Тюрингенских горах, покрытых милыми лесами, всегда окутанными фиолетовой дымкой, расположены маленькие города, в которых живут садовники, эти города не враждуют с природой, а люди там очень добрые, совсем не такие, как в Пруссии» [2, с. 349], — так охарактеризовала свою родину, назвав ее Зеленой Германией, Мина, и Алпатов скоро убедится в истинности ее слов.

В поисках невесты он отправился в Саксонию; в Иене остановился у фрау Ниппердай, к усадьбе которой ведет дорога-аллея из фруктовых деревьев. Он узнает, что «счастливая русская фрейлейн» хотела повидать «зал, на Вартбурге, где состязались певцы Вольфрам и Тангейзер», а затем «в Дрездене Рафаэлеву “Сикстинскую мадонну”» [2, с. 354]. Алпатов, отправившийся вслед за Инной, восхищается ухоженной прекрасной страной, «каждый аршин которой был любовно преображен человеком» [2, с. 357]. Русский человек, «задавленный невозделанной землей», особенно остро почувствовал «величие преобразующего труда человека не гениального, а самых обыкновенных людей, которых в России презрительно называют *обывателями*» [2, с. 357]. «Казалось, вдали везде синели леса, но когда к ним приближался, то все оказывалось рощами, сажеными рукой человека. Везде были рощи между полями, но в этих саженых лесах птиц пело гораздо больше, чем в огромных диких русских лесах, и время от времени через лесные поляны перебегали настоящие дикие козы» [2, с. 358].

После разговора с садовником, убежденным, что и навоз чувствует уход, и когда ему хорошо, то хорошо и самому человеку, у Алпатова возникло ощущение внутренней свободы: «Теперь на что только он ни глянет, ничто от него не отвертывается и не упрекает, как на родине. Прекрасная, совершенно белая дорога по зеленым полям, ровные канавки возле дороги, плоды на деревьях, свисающие до самого рта, красивые коровы, среди которых ходит и египетский Апис, рабочие кони-великаны с огромными телегами, перелески с поющими птицами, белые двухэтажные дома в деревнях и, главное, сама земля, возделанная, удобренная с верхним бархатным слоем, — все говорит по-своему: “Мне хорошо, и потому хорошо человеку”» [2, с. 360].

А главное, изменилось представление Алпатова о Германии и о немцах: «мещанская страна превратилась в прощеную землю, Зеленую Германию» [2, с. 358], родину тружеников и поэтов. Когда же он «обернулся в прошлое страны, в провинцию, то на первый план у него выступил не Бисмарк, объединивший все провинции, а Веймарский герцог с поэтами Гете и Шиллером» [2, с. 357]. А «раз он теперь в прощенной стране, то и он может принять участие в ее радостях»: «Белая дорога ... вьется между горами. Русский юноша пьет холодную воду из ключа, возле которого шли пилигримы и своим пением напоминали Тангейзеру его рыцарский долг. Вот и зала на Вартбурге, где состязались певцы и Вольфрам пел о вечерней звезде¹. <...> А в Веймарском парке он бродит по тем же аллеям, где Гете бродил, и читает по-немецки вслух его “Ифигению”. Новый смысл открывается ему в знаменитой трагедии на месте ее происхождения. Ифигения была в своем роду проклята, но своей волей. Разумом, милосердием разбила Кашееву цепь» [2, с. 358].

¹ По свидетельству В. Д. Пришвиной, опера Р. Вагнера «Тангейзер и состязание певцов в Вартбурге» была любимым произведением писателя, Пришвин прослушал ее в Германии тридцать семь раз [4, с. 205].

В крестьянском трактире он читает том натурфилософии Гете, книгу «о внутренних чувствах жизни», и ему кажется, что он «нашел у Гете себе целый новый мир» [2, с. 359].

Теперь он должен увидеть «Сикстинскую мадонну». Дрезден вызвал ощущение праздника: «День ли удался такой в природе яркий, или у людей был какой-то праздник, или этот праздничный город, как вечнозеленое растение, был сам по себе предназначен для вечного праздника?» [2, с. 361]. Огромный музей в Цвингере «предстал Алпатову как воспоминание сказки, и чудом казалось, что ту же самую сказку переживали все художники с далеких времен. И он шел из одной залы в другую очарованный и как бы пьяный от постоянных рассказов в красках и линиях одной и той же своей собственной сказки». И когда он вошел в комнату, где находилась одна лишь «Сикстинская мадонна», то «сразу узнал в ней что-то знакомое и совершенно простое и прекрасное. Подумав немного, он вспомнил: это было в жаркий день на опушке дубового леса, жнея подошла к люльке, висевшей под деревом, взяла ребенка, стала кормить и осталась в памяти святая, как и мадонна Сикстинская...» [2, с. 362].

Он сел на свободное место «и, опять рассматривая мадонну, стал вспоминать святую жнею, чудесную бабу под Ельцом. Так в этот день странным образом сходились все к одному: в Ифигении открывался человек, победивший проклятие свое, а картина Рафаэля раскрывала естественную невинность людей...» [2, с. 363]. А после спора с Ефимом Несговоровым, считающим, что искусство расслабляет, отвлекает от социальной борьбы, «не звучала ему больше музыкальная сказка, и лица людей не удивляли своим сходством с оригиналами великих художников» [2, с. 369].

Звено «Юный Фауст» посвящено пребыванию Алпатова в Лейпциге, где он окончательно растерял свои революционные взгляды: «Осталась позади эта страшная русская жизнь, где всю молодость отдают *идеи*...» [2, с. 399]. Учиться в Лейпцигском университете, «великом храме германской науки», герою предложил Несговоров, давший ему партийное задание — организовать марксистский кружок. Алпатов задание не выполнил, более того, в диспуте после доклада «От марксизма к идеализму» он потерпел фиаско, ибо еще «не знал ни Рилия, ни Зиммеля и ни малейшего понятия не имел о *гносеологии*, вокруг которой и вертелся доклад» [2, с. 380].

У Алпатова не было приятелей среди немцев, что неудивительно. «Пуд соли съесть, чтобы человека узнать, — плохая поговорка в Европе, где в установленных формах общежития можно десятки лет ежедневно обедать с людьми и произносить одно только слово *Mahlzeit!* Можно и так устроиться, что ежедневно будешь принимать участие в домашних концертах, вместе ходить раз в неделю в театр, по праздникам прогуливаться на велосипедах, на лодке, и так вместе съесть не один пуд соли и все-таки оставаться совершенно неузнанным» [2, с. 415]. Квартирная хозяйка, у которой он прожил три года, только «под самый конец курса болотных наук» спросила Алпатова, зачем он хочет стать торфмейстером, никто до тех пор «не поинтересовался интимными причинами выбора им столь скромной профессии» [2, с. 415—416].

Не сошелся он близко и с русскими студентами. «Мефистофель» Амбаров, сокурсник, которому доверился Алпатов, зло подшутил над ним, из-за чего пришлось участвовать в дуэли на шлегерах с буршем-корпорантом. В романе подробно освещен ритуал происходящей в начале XX века дуэли.

На заседании буршенгерихта (суда чести) буршу была разрешена дуэль с иностранцем. Секундант корпоранта явился к Алпатову и сообщил ему постановление буршенгерихта, и пришлось Алпатову учиться фехтованию, чтобы немцы не посчитали русских трусами. Наконец наступил день дуэли. Но до рассказа о дуэли писатель вспоминает бои английских петухов: на петухов поставлены большие деньги, и потому зрители «на смешное петушиное смотрят серьезно». Это, по мнению Пришвина, многое объясняет и в отношении к дуэлям буршей. «В этих дуэлях все проходит, кажется, еще серьезней, чем в дуэлях с смертельным исходом на пистолетах, и это очень понятно: перед смертью люди могут шутить, но если не смерть, а обряд, то какой же смысл в шутке? Единственная опасность остаться без руки, если острый, как бритва, шлегер, перебьет плечевое сухожилие *axillaris*, но и то едва ли это возможно: опытный Беспартийный с высоты бочки зорко следит за первой кровью, и как только крикнет свое “halt” — секунданты скрестят свои шлегера между противниками, доктор бросится, схватит своими пинцетами разрезанные концы *axillaris* и как-то по-своему устроит все к благополучию» [2, с. 400].

И вот Беспартийный поднял свой шлегер. «Противники сходятся с открытыми лицами, плечами и грудью. Все начинается с такой же осторожностью и затаенным волнением, как у петухов, вооруженных самой природой боевыми шпорами, тоже долго примериваются тот и другой, ожидая на себя нападения, думая: пусть он первый ударит, а я готов отразить удар и потом ударю по-своему» [2, с. 401]. Алпатов не выдержал первым, бой шел с переменным успехом, корпорант кончиком шлегера задел Алпатова, но судья не заметил первой крови, а растерявшийся корпорант был сильно ранен. «Доктор спешит промывать и сшивать», корпорант «просит пива и, улыбаясь, приветствует противника. Алпатов чокается с ним весело: прозит и мойн» [2, с. 401]. Вот этого у петухов нет, это придумали люди, замечает повествователь.

В романе обстоятельно рассказано об уникальном, чисто германском явлении – студенческих корпорациях. Описывая подготовку коммерша (студенческой пирушки), Пришвин раскрывает структуру корпорации: «Между тем *фуксы*, эти молодые члены корпорации, еще в черных декелях, *фуксы* первых семестров, *красфуксы*, и старшие *брандфуксы* сдвигают столы, составляют один большой, во всю залу. Другие тащат свежую бочку, пробивают ее острием, ввинчивают кран, расставляют по всему столу зейдели. Собираются мало-помалу старшие корпоранты, полноправные члены конвента, вшитых золотом цветных декелях и с лентами на груди, корпоранты первых ступеней — *молодые дома*, корпоранты вторых ступеней — *старые дома*, третьих — *почетные головы* и вечные студенты, седеющие и лысые, много лысых, разные *филистры*, давно уже окончившие университет и сидящие на хороших государственных местах, но все-таки в цветных декелях, совершенно истыканных шлегерами на коммершах своей юности, и какой-то совсем старый филистр в чине действительного тайного советника» [2, с. 403].

Столь же обстоятельно описывается коммерш: «Потом председатель ударяет по столу шлегером. После пения старинной студенческой песни говорят приветствия филистрам, потом опять «поют и пьют, и говорят о неизменных традициях корпорации *Concordia*, благодарят за поддержку почетных филистров, всех от высшего к маленькому, нисходя пирамидально». Потом «начинается *ландесфатер*. Все берут в руки по шлегеру, становятся пара-

ми — друг против друга, прокалывают острями шлегеров свои цветные декеля и поют:

Декель я колю тобою,
Клятвою клянусь святою
Быть достойным и верным
Своей Альма Матер» [2, с. 403].

«Маленькое происшествие» позволило рассказать и об обряде наказания провинившегося неопытного фукса — *ванценкурише*: «Все бросают в кружку несчастного фукса окурки, пепел, спички, объедки, всякую невозможную *клопину* дрянь. Фукс на виду всех становится на колени, подносит эту кружку к своему рту» [2, с. 403]. Он должен очень медленно пить, ровно столько времени, сколько будет продолжаться общее пение, а оно «умышленно тянется долго на слове: *тяни*» [2, с. 404]. Пришвин вводит в текст немецкую песню, давая перевод ее в сноске.

После рассказа о коммерше в лирическом отступлении автор размышляет о национальных традициях. Он вспоминает, что русские часто называют немцев дураками, а французов, англичан, японцев, китайцев, итальянцев — нет, и делает вывод: «*дураками* у нас считают главным образом людей, у которых традиция преобладает над личными качествами, что позволяет даже действительно неумному человеку провести неглупую жизнь. У нас, наоборот, не имея возможности жить чужим умом с помощью традиции, наш дурак так исхитряется, что становится умным. А еще мы приладились юродствовать в положениях, плохо подчиняющихся действию разума, тогда как немцы устраивают и это разумно; я думаю о множестве немецких браков при содействии брачных газет, браков часто многолетних и совершенно счастливых. Точно так же невыносимо нам приспособление рыцарских традиций к современному бюрократическому строю в студенческих корпорациях, где тайный советник дисциплинирует маленького фукса в верных чувствах своему кайзеру и потом приготавливает ему местечко по службе» [2, с. 404—405]. И только после этих слов автор вновь говорит об Алпатове, «оглушенном глупостью всего происходящего» и пившем «зейдель за зейделем золотое саксонское пиво, светлое берлинское, темное баварское»...

Алпатов — студент философского факультета. В «Кашеевой цепи» говорится о «предрешенности факультета»: «Правду кто-то сказал о Германии, что философия там похожа на вымя со множеством сосцов, питающих науку, — и теоретические, и прикладные. В России даже в образованном обществе как-то не всегда удобно сказать: *занимаюсь философией*, потому что наша философия непрактичная... В Германии даже агрономии читают на философском <...>. Социальные науки, уж конечно, на философском, и потому Алпатову факультет предрешен» [2, с. 376—377].

Алпатов «спешит прослушать и Вундта, и Оствальда, и Бюхера², и Лампрехта, и всех молодых светил философии. Скоро Алпатов с удивлением вспомнит то время, когда в их подпольном кружке метафизика была почти бранным словом. Вундт читает философию, но его слушают больше врачи, так не похожа его философия на беспочвенную *метафизику*. И химик Оствальд, точный исследователь, посвящает два часа в неделю, чтобы поделиться со студентами всех факультетов своей философией природы. И, может

² Пришвин постоянно употребляет такое написание фамилии ученого.

быть, сам Бюхер додумался до ритмической связи работы и музыки только потому, что в юности занимался философией. В самое короткое время Алпатов переменяет свой русский взгляд марксистского провинциального кружка на философию, в кармане у него постоянно маленькие философские книжки, и “Prolegomena” Канта, и “Этика” Спинозы» [2, с. 385—386].

Будучи студентом Рижского политехникума, Пришвин стал марксистом, однако, как и его автобиографический герой, во время учебы в Германии (1900—1902 гг.) отошел от непосредственного участия в революции. «Марксизм мой постепенно тает... я учусь на агронома и хочу быть просто полезным для родины человеком», — напишет художник в «хронике своей жизни» в 1918 году» [1, кн. 2, с. 366].

В романе Пришвин вспоминает свои студенческие годы. Он был хорошо знаком с основными философскими учениями рубежа XIX—XX веков: позитивизмом, неокантианством, «философией жизни»... Пришвин посещал лекции известных ныне философов. В составленном им списке выдающихся людей, которых он видел в жизни, есть имена социолога и «философа жизни» Георга Зиммеля, физикохимика и основателя «энергетической философии» Вильгельма Оствальда, философа, психолога и физиолога Вильгельма Вундта, выдвинувшего концепцию «аналитической интроспекции», философа и естествоиспытателя Людвиг Бюхнера, профессоров Шмоллера, Вальдена [1, кн. 3, с. 134].

Воздействие на взгляды М. Пришвина «философии жизни», теснее связанной с практической жизнью, конкретной действительностью, «земными» человеческими проблемами, оказалось наиболее сильным. Мы можем говорить о значительном интеллектуальном влиянии идей Ф. Ницше. Имя немецкого философа часто встречается в романе «Кашеева цепь». Книги Ницше открыли герою «настоящее знание», на одно неповторимое мгновение, «как метеор», ярко осветившее мировое пространство [2, с. 393]. О Ницше размышлял писатель на протяжении всей своей творческой жизни. Он восхищался Ницше, «вступившим в борьбу за себя, за *качество* мира» [1, кн. 3, с. 138], но чаще спорил с ним, поскольку имморализм этого «языческого индивидуалиста» [1, кн. 3, с. 51] был абсолютно чужд основам его личности. Последовательным ницшеанцем, как Мережковский, строивший свою концепцию целиком на противопоставлении языческой телесности и христианской духовности, Пришвин не стал, для него Ницше — прежде всего художник слова и великий философ, чье учение «сразу дает толчок искусству» [1, кн. 3, с. 51]. В книге «Мы с тобой», написанной Пришвиным совместно с В. Д. Пришвиной, идет речь о «преодолении» писателем философии Ницше в 1940-е годы.

Пришвину не могли не импонировать идеи немецкого философа Георга Зиммеля, исходившего из тезиса о жизни как реализуемой в самоограничении посредством ею же самою создаваемых форм. Единственным средством регуляции поведения является индивидуальный поиск личностной идентичности и ее выражение в субъективной культуре. Дух, опредметившись, начинает противостоять душе. Преодолеть это можно, по Зиммелю, только через возвращение индивидуальной жизни на основе «индивидуального» нравственного закона. По сути, о том же самом будет размышлять Пришвин, через осмысление значения чувства семьи и дома для русских классиков, пытаясь понять закономерности их творческого поведения и обозначить оригинальность собственного мироощущения: «“Уезжая от родных мест,

становишься меньше?» (Мамин). А я, уезжая, становился больше себя. Так, покидая семью, — в одиночестве становишься меньше; а тут, отправляясь в неизвестное, — приближаешься к порогу чудесной встречи, и весь мир становится тебе Домом» [3, т. 8, с. 365]. Пафос пришвинского высказывания созвучен концепции Зиммеля. Пришвин пишет о «родовом бытии» как мешающем проявлению личного начала, но как корректив можно воспринимать его же мысли, близкие Ницше, — о постоянном возвращении к истокам бытия.

И идея Зиммеля о деятельности гуманитария как «трансцендентальном формотворчестве», осуществляющемся личностью с ее априорно заданным способом видения, была близка писателю. Разумеется, Пришвин использует иную лексику: он не мыслит в систематически продуманных категориях, не заботился о логической последовательности, но, размышляя о своем особом вкладе в творчество жизни, постоянно подчеркивал своеобразие личного способа видения.

В дневнике Пришвина можно обнаружить переключку с «философской» социологией Зиммеля, понимавшего общество как совокупность форм, организующих социальную жизнь, и как совокупность связей людей, однако в своем анализе преимущественное внимание уделявшего не обществу как таковому, а бытию. Пришвин, вслед за немецким философом, основное внимание обращает на бытие, определяющее взаимоотношения людей.

Но особенно значимой для художественного мышления Пришвина стала зиммелевская концепция понимания как отношения одного духа к другому, постоянно дополняемого актами самосознания, обеспечивающими знание себя как другого. Для художественного мышления Пришвина особенно характерны «внутренние диалоги» с соратниками по перу, философами, религиозными мыслителями, учеными — современниками и предшественниками, он их ведет с целью осмысления собственной позиции, определения своего творческого поведения.

Таким образом, многочисленные дневниковые записи писателя и его автобиографический роман «Кашеева цепь» подтверждают тот факт, что в формировании художественного мышления М. Пришвина роль Германии — ее философии, музыки, поэзии, бытовой культуры — значительна.

Список литературы

1. Пришвин М. Дневники: в 4 кн. М.: Московский рабочий, 1991—1999.
2. Пришвин М. М. Кашеева цепь // Пришвин М. М. Собрание сочинений: в 6 т. М.: Худ. литература, 1956—1957. Т. 1. 576 с.
3. Пришвин М. М. Собрание сочинений: в 8 т. М.: Худож. литература, 1982—1986.
4. Пришвина В. Д. Наш дом. 2-е изд, перераб. М.: Молодая гвардия, 1980. 336 с.
5. Руднев В. П. Словарь культуры XX века: Ключевые понятия и тексты. М.: Аграф, 1997. 384 с.